Москва

6
2011

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Выходит с марта 1957 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей России

Российский Фонд Мира

Трудовой коллектив
журнала «Москва»

Москва

6
2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Николай БЕСЕДИН. **Ремесла незримый крест.** *Стихи* 3
Андрей АНТИПИН. **Соболь на счастье.** *Сказка-повесть* 9
Александр ПАВЛОВ. **Сквозь столетие русской реки.** *Стихи* 46
Сергей МАТЮШИН. **Поздний костер.** *Рассказы* 51
Олег АГРИНСКИЙ. **Весенний знак метаморфоз.** *Стихи* 75
Леонид ПОДОЛЬСКИЙ. **Эксперимент.** *Повесть* 79
Валерий ГРИШКОВЕЦ. **По следу стаи перелетной.** *Стихи* 143
Леонид БОРОДИН. **Льдина.** *Рассказ* 146

ПУБЛИЦИСТИКА

Интерпретация истории как технология социального проектирования. «Круглый стол» журнала «Москва» 152
Владимир СЕМЕНКО. **Гроза придет с Востока.** Возможный сценарий начала третьей мировой войны 161

Что изменилось?

Н.ЩЕДРИН. **Либерал.** *Сказка* 175

КУЛЬТУРА

Андрей РУДАЛЕВ, Сергей ШАРГУНОВ. **Предчувствие героя** 179
Юрий ТЮРИН. **Мученик вместо «святого черта»?** 185

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

Дафинка СТАНЕВА. **Все длиннее становятся ночи.** *Стихи* 197
Темур АМКОЛАДЗЕ. **Цветок бессмертник.** *Рассказ* 202
Юрий ПАХОМОВ. **Дюны.** *Рассказ* 206
Георгий МЕЛЬНИК. **Здравствуй, кризис!** *Стихи* 212
Александр ТОРОПЦЕВ. **«Устал от схваток роковых»**
(О книге Ивана Переверзина «Грозовые крылья») 214

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ). **Отец Аввакум и псковский уполномоченный** 227
Александр БОГАТЫРЕВ. **Куда подевались юродивые?** 230
Архиепископ Никон (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ). **Умеем ли мы молиться Богу?** 236

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **Л.И. БОРОДИН**

Заместитель главного редактора А.Н. ПОЗИН (691-83-86)
И. о. ответственного секретаря О.И. КИРЕЕНКО (691-83-64)
Отдел поэзии и прозы Е.М. УСТИНОВА, Т.А. НЕРЕТИНА (691-68-01)
Отдел культуры К.А. КОКШЕНЕВА (691-83-64)
Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (691-68-01)

Председатель Совета издателей А.Ю. БЫКОВ

Исполнительный директор В.В. КОВАЛЕВ (691-83-91)
Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (691-83-84)
Заведующая редакцией А.С. БОЯРИНОВА (691-71-10)
Корректор О.И. ИВАНОВА
Технический редактор М.Л. КРАСИЛЬНИКОВА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 25.05.11. Формат 70x108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать офсетная.
Тираж 3450 экз. Заказ 1743.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: 73253 — каталог РОСПЕЧАТЬ, **15612** — «Пресса России», **45211** — каталог «МАП».
Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.
Электронная версия журнала: www.moskvam.ru
e-mail: priem@moskvam.ru

Отпечатано в ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат». 142300, г. Чехов Московской области. Факс +7(49672) 6-25-36, +7(499) 270-73-59. Телефон (многоканальный) отдела продаж услуг: +7(499) 270-73-59. Сайт: www.chpk.ru; e-mail: marketing@chpk.ru

ISSN 0131–2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 6, 2011



РЕМЕСЛА НЕЗРИМЫЙ КРЕСТ

* * *

Я говорил в отчаяньи себе:
— Что я могу один средь одиночек?
Одна свеча не одолеет ночи,
И не достичь небес одной мольбе.
И это примирение с судьбой
Навек, казалось, плоть моя впитала,
Готовая стать нищей иль рабой...
И лишь душа, душа лишь бунтовала.
Она дралась со злом, кровоточа,
Зализывая раны меж боями.
Я утешал, как мог, ее словами,
Она ж ласкала рукоять меча.
Я говорил:
— Ты вечный храм для муз.
Невеста для Божественного света!
Ответила:
— Я лишь тогда бессмертна,
Когда со злом на миг не примирюсь.

Николай Васильевич Беседин родился в 1934 году в Кемеровской области, на прииске Террасном. В 14 лет ушел юнгой на флот. Окончил Мореходное училище в Ленинграде, затем Литинститут им. А.М. Горького. Работал в Институте ядерной физики им. Курчатова, в Госплане СССР.

Автор 14 сборников стихов и трехтомника «Избранное». Лауреат Всероссийских литературных премий им. Н.Заболоцкого, И.Бунина, А.Чехова, международных премий.

Член Союза писателей России.

Живет в Москве.

* * *

Мы входим в мир не с чистого листа.
Едва исторгнут первый крик уста,
Уже судьбы определен рисунок
И ритм, рожденный на небесных струнах.
Мы входим в мир не с чистого листа.

Росток пробьет и глину, и песок,
Асфальт и камни улиц и дорог,
Исполнив то, что завещали семя,
И прошлое, и будущее время.
Росток пробьет и глину, и песок.

Как память наша гибельно слаба,
Текущих дней, мгновения раба!
Ни голосов минувшего, ни знаков
Не хочет знать. Мир скучно одинаков.
Как наша память гибельно слаба!

Шумит ли дождь, или идут снега,
Или вода кромсает берега,
Язык природы разуму невнятен.
Он говорит, он хочет быть понятен,
Шумит ли дождь или идут снега.

Руины духа мертвенно молчат.
Истлевших снов осенний аромат
Тревожит душу памятью о лете,
Забытой вестью о ее бессмертье.
Руины духа мертвенно молчат.

Кто чужд истокам, чужд и небесам.
Проклявший семя, будет проклят сам.
Возмездие судьбы неотвратимо
Над тем, кто делит то, что неделимо.
Кто чужд истокам, чужд и небесам.

* * *

Я написал «Прощай» на мартовском снегу.
На влажном от росы на пойменном лугу.
Потом на дереве я написал «Прощай»,
Я на воде писал, попробуй прочитай!
На камнях я чертил, что вечности сродни,
На снах младенческих — исчезли и они.
Тогда на доме, где любимая жила,
И город выгорел в мгновение дотла.
Я проклял слово то — предвестника беды,
И вдруг «Прощай» огнем смело мои следы.

Ветер в городе

О, как желанна неба высота!
Но руки переломаны, и раны
Пронзают болью улиц теснота
И площадей бетонные капканы.
Цепляясь за карнизы, витражи,
В кровь изодрав упрямые ладони,
Он рвется вверх, туда, где этажи
Устали от бессмысленной погони.
Он мечется, роняя на асфальт
Лохмотья листьев, словно хлопья снега,
Как будто ничего ему не жаль
Отдать за кипень голубую неба.
Но в этой схватке все предрешено.
И падает он навзничь на ограды
И, приподнявшись чуть, стучит в окно,
Как будто просит у людей пощады.

Мастер и скрипка

В этой комнате-футляре,
Где хранятся звуки скрипок,
Где на полках сохнут доски
От тоски по до-ре-ми,
Где подрагивают струны
От предчувствия улыбок
И лоснится лак на деках
Цвета вызревшей хурмы,
В этой комнате, где мастер
Шепчет древние заклятья
И рукам его послушен
Примитивный инструмент,
Где рождается из древа
Чистой музыки распятье,
Пенье птиц и стоны ветра,
Разрушая сонный плен,
Там душа о «завтра» грезит,
О «сегодня» молят руки,
Восхитительный напиток
Вечность пьет в один присест
И хранит разгадку тайны
Чудодейственного звука
Посреди певучей деки
Ремесла незримый крест.

* * *

Шаги мои тихо скрипят и скрипят,
Как будто иду по морозному снегу.
То ль где-то внутри, то ль суставы болят,
То ль это дорожная грусть по ночлегу.
Петляет мой путь.
То кочкарник кругом,
То стелется он по речной луговине.
На русской земле затерялся мой дом.
А может, и нет его больше в помине?
Развел я огонь среди древних руин,
Он жжет мои руки, но душу не греет.
Постель застилают мне листья осин,
И ветер забвенья так ласково веет.
Ну вот и ночлег.
Что ж, спасибо, судьба,
За то, что не все растерял я в дороге,
Что светится где-то сквозь темень изба
И женщина ждет сыновей на пороге.

* * *

Вот первый луч погладил зеленя.
Ночь на исходе.
Что ж, прощай, бессонница!
Дневных забот безжалостная конница
Уже несется с гиком на меня.
Я буду помнить твой усталый взгляд,
Твоих перстов замысловатый танец,
И как в рогожку превращался глянец
И в мишуру — словесный маскарад.
В том хаосе, в нагроможденьи дней
Как нищая старьевщица копаясь,
Ты находила памяти на зависть
Осколки смысла в суете моей.
Ты музыкой взрывала тишину.
И лица, лица медленно кружились —
И те, что есть, и что давно простились,
Забыв дорогу к дому моему.
Я проклинал тебя, глаза слепя,
И убеждал, что это только снится...
Как тяжела, тверда твоя десница!
Как пусто и тревожно без тебя!

Лошадь

Как стояла она! Как глазами водила!
Как ходила в ней волнами
вольная стать!
Как бугрилась на мускулах ярая сила!
Не хозяин ее, а она выводила
Мужика своего торгашам показать.

То ли стала кормилица
косточкой в глотке,
То ли леший какой в его душу проник,
То ли глаз положил на красивые шмотки...
А и взял-то всего тридцать шкаликов водки
За красу ненаглядную сивый мужик.

И ее увели.
Сыромять поменяли
И узду, и гужи, и супонь, и хомут
На заморскую упряжь
И не заставляли
Ни пахать, ни возить. Даже стойло сломали.
Мол, живи как мустанги на воле живут.

А она захирела. То ль корм был не в лошадь,
То ль повадилась ласка пугать по ночам
До кровавого пота,
Но только все тоще
Становились ее
неподвластные мощи
Конским знахарям, экспертам и колдунам.

И позвали тогда мужика.
Он с похмелья
Посмотрел на родимую ладу свою,
Намешал из травы то ли пойла, то ль зелья
И добавил словцо,
в переводе как «шельма»:
— Чем тебе... не потрафили
в ихнем раю?

Лошадиная морда уткнулась в ладони,
Пробежала по коже счастливая дрожь...
Торгаши улыбались мужицкой персоне:
— Ну, теперь все о’кей! Суперлайнер обгоним!
Но мужик озверел:
— Нет уж, дудки! Не трожь!

* * *

Все принимать, что разум воплотил
В бетон и сталь, в материю прогресса,
И не жалеть о том, что позабыл
Пьянящий воздух мартовского леса.
Глядеть, как надвигаются дома,
С каким-то неосознанным испугом.
Уехать прочь
И вдруг сойти с ума
От бабочки, порхающей над лугом.

* * *

Убегал от рыси горностай.
Меж ветвей легко струилось тело.
Но распадок обозначил край
Вольного таежного предела.
След потока, селевая грязь,
А за ней — зеленое приволье.
Но инстинкта родового власть
Вдруг сковала мускулы и волю.
Царский мех искрился чистотой,
Серебром на поминальной тризне.
Горностай застыл —
И принял бой,
Отрицая грязь ценою жизни.

* * *

Как раненая птица в первый миг
Взмывает ввысь в порыве безотчетном
Продлить полет
И испускает крик,
Прощальный крик последнего полета,
Так и поэт в предчувствии беды
Вдруг обретает вещий дар пророка
И в нем сгорает прочерком звезды —
И чуждый, как звезда, и одинокий.

АНДРЕЙ АНТИПИН



СОБОЛЬ НА СЧАСТЬЕ

Андрей Александрович Антипин родился в 1984 году в селе Подымахине Усть-Кутского района Иркутской области. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета.

Публиковался в журналах «Сибирь», «МолОКО», «Наш современник».

Живет в поселке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области.

СКАЗКА-ПОВЕСТЬ

Соболя ловить иду,
Дорогого соболя,
Соболя, похожего на ветку,
Черную ветку кедра
Под синим, звонким инеем
В морозную, ясную ночь.
Из старых охотничьих журналов

Ну, чернильная клякса на голубой ветке — с той памятной ночи, когда ему впервые был этот сон, Никита крепко усвоил: черный баргузин, красавец Соболь, спасет маму от Беды.

* * *

Вернее, спасти маму должна была дорогая соболья шуба. Одна из тех, какие каждый год в феврале месяце везут со всех сибирских деревень — сначала в грубых мешках в районный заготпункт, потом в пышных, опоясанных ленточками связках в Петербург, на аукцион. Там шкуры соболей, лис, рысей, белок, горностаев и прочих пушных зверей раскладывают по длинющим (может быть, на весь Петербург) полкам и торгуют ими на Зеленые Доллары. Тут варежку не разевай: мигом объегорят хитрые англичане или расторопные американцы, смекалистые японцы и, конечно, пронырливые китайцы. Да и другой разный иностранный люд шныряет, дюже падкий на российские меха.

Бойко идет купля!

На руке у нашего продавца то лиса вспыхнет золотом, то соболь сверкает нежными остинками, а то рысь взбугрится когтистой лапой... Обратно купцы везут охотникам деньги. Мно-ого денег. Меньше, чем они заработали, много из этого аукционного пая оседает в карманах нечистых на руку скупщиков, торгашей и прочего базарного народишка. Но все равно в одни руки — при удачном раскладе —

выходит изрядно: на дробь, порох, муку, винишко, ребятишкам на книжки, бабе на сапоги... Особенно тому добытчику перепадает, кому выпал на промысле редкий фарт — залетел в ловко ставленный капкан или был загнан чуткими лайками на дерево чудо-баргузин:

Баргузинский черный соболь
чем темнее, тем ценней.

Про него издавна говорят: *черный как смоль; мех играет огнем, а грудка как топленое молоко*; *фарт с проседью*. А ему, Никите, должен был выпасть этот самый *фарт*, по всем статьям, беспременно!..

Соболь с голубой ветки мерещился всюду: в саду на березе, в поле на снегу, на бане с деревенскими котами... И было отчего разгореться пылким глазам: мама Никиты, школьная учительница, попала в Беду.

Вообще-то Антонина Сергеевна не была по образованию учительницей. О, где она только не помыкалась на своем веку! Младшей воспитательницей в детском саду (Никиты не было на свете в то «золотое времечко»). Потом детсад закрыли, крышу и стены своротили тракторами. И мама устроилась вахтером в совхозную контору (из этих лет Никита запомнил совок с веником в темной подвальной комнате, где пахло сыростью и крысами, и директора Вахтанга Киреевича, целовавшего маме руку). Месяца два-три служила сторожем-истопником в больнице (топили овальную кирпичную печь, мама читала книжку, а Никита ел кусочки хлеба с тонкой колбасой). Одну осень стерегла от пьяных мужиков мешки с комбикормом на складе (а мужики стучали в дверь и обзывали маму директорской нашкандыркой). Еще какое-то время мама сидела на шее у Владислава Северяновича, свесив ножки...

Никита сидел с мамой. Отец, садясь за стол, говаривал: «Пожиратели домашнего! Сели на шею и еще ножки свесили!» Мама, заплакав, убегала в комнату и день-другой не ела, а вместе с ней — как раньше вместе вахтерили и топили печку — не ел Никита. «Пожиратели домашнего!» — это ничего страшного, тут не было обидного. Просто Владислав Северянович директор лесхоза «Каменский», почетный на селе человек, депутат, избранный народом в местную думу, имел в виду: Никита с мамой едят то, что покупается на его деньги, а в обмен не разбогатеют, собирая грибы и земляннику в лесу или колотя шишки, как «все путные бабы делают».

Действительно, в лес они с мамой не ходили. Мама плутала в трех соснах, а Никита был маленький, чтобы поднимать тяжелый колот. Поэтому, вернувшись из магазина, пряники и конфеты Владислав Северянович уносил к себе и ел один. Случалось, Никита по маминому недогляду и своему детскому разумению, привыкнув считать все общим, брал у отца что-нибудь. Заметив оброненные фантики, Владислав Северянович отчитывал Никиту за воровство и насыпал на столе фиолетовую стеклянную вазочку. Однако, как большой ребенок, сам же все и стаскивал, а мама всхлипывала: «Дал ребенку — как от сердца оторвал!..»

И вот маму приняли в школу учительницей младших классов.

Она съездила в город, запаслась всякими книжками. И первого сентября с Никитой, который поступил в первый класс, тоже пошла в школу. С этого дня Никита считал себя самостоятельным человеком. Он слез с шеи Владислава Северяновича, ибо шагал утром в школу, как на работу. Главное, что мама приносила деньги. И Никита, даже если никого не было дома, не боялся взять из нижнего пенала шкафа пряник или конфету: это были мамины пряники и конфеты, ешь сколько хошь. В верхнем

пенале лежали отцовские. Их, впрочем, тоже можно было пользовать. Но проси разрешения, а не то Владислав Северянович снова спрячет свои кульки и будет шуршать в фантиках одинокой мышью...

Все было бы хорошо в их вновь налаженной жизни, но отворяй ворота Беде. Сначала явились ее слуги. Или даже так: промелькнули три ее верные лошади. Первая называлась *Дефолт* (это был, верно, конь, а не лошадь, — страшный и злой, с оскаленными желтыми зубами). Вторая — *Забастовка* (это когда вздыбилась страна, рыча «РФ! РФ!», и многие не вышли на работу; для Никиты прежде всего *Забастовка* — учителя валяют дурака, а ученики сидят дома). И третья лошадь — *Подтоварка* (Никита ходит с мамой и большой сумкой в магазин и за здорово живешь берет с полок без денег). Вот эти три слуги и вывезли Беду.

Она, эта Беда, первое время не ощущалась. Ни в руки ее не взять. Ни в увеличительное стекло не рассмотреть. Ни подслушать, ночью крадущуюся по квартире или чутко спящую в углу. Но она была тоже везде: в голове, в сердце, в мире. Никита и просыпался-то от этой, раньше него пробудившейся мысли... Точно Соболек царапался когтем из хитроумной ловушки, в которую он по дурости угодил. Сон огненной птицей, снявшейся с ветки темного дерева, улетал из головы. Окно в застывший зимний сад было серым от ранних, непромытых сумерек, утренняя улица тиха. И Никита знал, что в мире Беда, что нужно поймать Соболя. Что из города должны приехать Люди-в-Черном и поджечь их дом...

О, если бы кто из косных
Заметил, как, снег шевеля,
Купаются соболи в соснах,
Одетые в соболя!..

— Ну, ты скоро там? Опять с утра пораньше читаешь? — в раскрытую дверь мамин по-утреннему свежий голос. — Или на Лену выехал?

Мама ждала его в кухне, стоя у плиты в клеенчатом переднике, спиной к окну. На столе — лапша в эмалированной чашке выпласталась белой полоской из-под потной крышки и стакан с морковным соком. Умывшись и вычистив зубы, Никита пил пользительный сок, далеко по ободку стакана выпятив нижнюю губу. Между делом он поглядывал в затянутое ледышками окно: папахи снега на столбиках огорода, собачья конура, баня, на стальных проволоках через двор до хруста промерзшее белье...

«Фу, какая гадость!» — Антонина Сергеевна опять пересахарила сок, Никиту немножко подташнивало. Впрочем, подташнивание и та слабость, когда не можешь попасть ногой в гачу, а встав с кровати, хватаешься за стамик, были привычны. Это повелось с тех пор, как он вместе с мамой стал бойкотировать обиды и ругательства Владислава Северяновича и часто во весь день не брал хлебной корки в рот.

Заглянув в чашку, он брезгливо и нарочито громко стукал крышкой:

— На глисты похоже!

И снова мелкими долями поглощал сок, макая в стакан нераскусную сушку, взяв ее из вазочки с проволочной дужкой. Сушка плавала в оранжевом озере как спасательный круг и не хотела размачиваться.

— Ешь, а то язва желудка прободает! — вздыхала Антонина Сергеевна. Так же она вздохнула много лет назад, Никита еще был маленький, но усатый доктор, смешно покатав у него по животу скользким шариком на электрическом проводке, уже заметил по телевизору «отклонения» и

сказал: «Кашки! Кашки!» И мама вздохнула. — Ты же знаешь, у тебя отклонения с кишечником!

— И я умру?

— Брось городить чепуху!

Короткие черные волосы Антонины Сергеевны воробьино взлохмачены на затылке.

— Папка где? — хмуро спрашивал Никита, вцепившись зубами в сушку и робея сломать четвертый слева в верхнем ряду зуб. Он и без того шатался, а если учесть, что нужно было еще разобраться с Жекой Азаровым (он вчера кинул в Никиту снежком), то можно было считать этот зуб навсегда потерянным для жизни во рту. — Спит?

— Ушел в контору. Вечером заезжать на новую деляну... — Ковыряла ложка в кастрюле, где застыла в слабо греющейся воде гречневая крупа, обнадеженная в лучшей доле кусочками разрезанной колбасы, белой от жира, и желтой кожицей лука. — Ты поел? Что молчишь?

— А долго вы еще бастовать будете?

Свое недовольство забастовками смог бы объяснить только сам Никита. Даже мама не понимала, чего он такой хмурый.

— Чего ты такой хмурый? Вам же лучше, дома сидите. Красота! Я бы, наверное, на твоем месте прыгала от счастья...

— Вот и прыгай! А денег сколь месяцев не видали? Опять папка скажет... Не буду я есть эту баранку, это *он* покупал!

— Это я покупала, а не *он*! Так что ешь смело.

— На какие шиши ты покупала? У тебя же никогда ни рубля нет!

— Ну, вот это уж тебя не касается, на что я покупала! Не хочешь есть — не надо, иди на консультацию!

Консультация — ты приходишь в гулкую школу, где есть только один сторож. Там встречаешь товарища, столь же, как и ты, припугнутого трещащими клавишами половиц (которых раньше не замечал). И вы вдвоем идете в кабинет физики, единственный, где открыта дверь. За столом сидит маленькая круглая полубабушка, то есть еще нестарая женщина, с рыжими короткими волосами, круглым лицом с поджарыми, поджатыми губами, ямочкой на подбородке и стеклышками очков, застывшими на кончике вздорного носа. И вот эта полубабушка, восхвалив Сталина (который бы не допустил всеобщей забастовки!) и попутно сообщив краткий курс истории КПСС, берет обыкновенную деревянную линейку протяженностью тридцать сантиметров. Она кладет ее на парту, так, чтобы половина линейки (15 см) выступала за парту, а оставшиеся на парте пятнадцать накрывает газетой и тщательно разглаживает ее. Потом твой приятель подходит и бьет по этим выступающим пятнадцати ребром руки. Газете хоть бы хны (хоть она и либеральная), а вот линейка ломается! Полубабушка, полуулыбнувшись, достает из портфеля другую, такую же линейку, проделывает с ней и газетой ту же операцию, после чего ты тоже подходишь и ломаешь линейку. Сломав две единицы школьного инвентаря, с горячим желанием сломать еще дюжину, вы идете домой, ломаете все имеющиеся в запасе линейки, а потом нащипываете лучину и ломаете ее. И дивитесь, сколь велика наука физика!

В тот несчастный день, вернувшись с консультации, Никита еще из сенцев услышал, как Антонина Сергеевна и пришедший на обед Владислав Северянович о чем-то громко спорят. Кроме их троих, в доме уже недели две-три жила Беда. Устами Владислава Северяновича глодала мамино сердце, трясла ее за плечи... Но Никита-то думал о Ней просто: беда да беда, мало ли ссорились родители. Эко горе!

— Говорил я тебе: не связывайся с этой бабкой, она тебя в долговую яму затащит! — брызгал слюной Владислав Северянович. Объясняться нормально он не мог, сорвав голос в лесу. Опять же людское невежество — а он *наблюдателем* на избирательном участке № 8. (На самом деле это был клуб, где каждую субботу катилась по наклонной молодежь. Но иногда с вечера на воскресенье сколачивались из неотесанных брусков клетки и, словно индейские жилища шкурами, обтягивались желтой материей. Вот эти «вигвамы» и наблюдал отец.) — Говорил я тебе? Что ты теперь *ей* скажешь, если *она* еще раз позвонит?

— Говорил, говорил! — защищалась Антонина Сергеевна, журча из крана водой на сваленные в мойке чашки и ложки.

— Где ты возьмешь?! — билась, ловила вермишель в тарелке алюминиевая ложка: есть вермишель вилкой Владислав Северянович считал за баловство. — Я тебя спрашиваю!

Вилка из руки Антонины Сергеевны бросилась обратно в мойку, обиженно звенькнув.

— Я возьму?! — следом за вилкой брякнулось блюдце. — А я для себя одной брала?! — с размаху хряпнула тарелка. — А ты не ел того, что я покупала?! — загрохотал половник.

— Я свое ем, дура! Я твое не ем! — взвизгнул Владислав Северянович, как будто его тоже несправедливо и больно кинули в мойку. Так он визжал и тогда, когда крученое дерево пошло на него, но шлепнуло только одной веткой. Владислав Северянович все равно ездил в городской санаторий, а Роман Федорович, отец электрика Мухина, уехал на кладбище, потому что «глухарь» (мерзлый сук) угодил Роману Федоровичу в переносицу. Это было возмездие, чтобы не рубили перелески и не сушили реку, как объяснила Никите Антонина Сергеевна. — И прекрати бить мою посуду!

— Тут и моя есть!

— Нету твоей! Это моя мать дарила мне на свадьбу, а твоя мамаша не дарила!

— Я тоже покупала! Где мои небьющиеся тарелки?!

— Иди у своей бабки-коммерсантки спроси! Только сначала найди и верни ей эти восемьсот сорок! А где ты их возьмешь?! Опять на моей шее сидите, бастовать задумали!

— Тебя не спросили!

— Вы-то спросите! Вы ничего другого придумать не могли! Ох, не я президент, а этот... карась большемудрый! Я-то бы вас всех, всех до одной выбросил на улицу!

— Замолчи, святоша-угодник! — Антонина Сергеевна бросала эти слова только в большой обиде, и Никита обмер, зная, что за этим может последовать со стороны Владислава Северяновича.

И точно: проскрипев одной ножкой, грозно откинулась от стола грубая, из дедушкиной избы, табуретка и тяжело протопала к мойке, откуда испуганно вскрикнулось маминым разбитым: «Ты что, Владик?!»

Дверь из сенцев открывалась в кухню, и Владислав Северянович с искаженным лицом отшатнулся от мамы, выпустив ее посиневшую в запястье руку...

Но нет! Взобравшись на снежную кучу, Никита мог на время стать Царем Горы, и все славили его (хоть и пытались сбросить нахрапом, скреблись со всех сторон, ловил за пальто, за валенки)! А в родном доме, меж близких и дорогих ему людей, даже сердца Владислава Северяновича не чаял Никита завоевать, чтобы отец почувствовал в нем сына и пожалел его маму. Ведь Никита еще раньше полюбил ее, а следовательно, признав

в нем сына, Владислав Северянович должен был бы полюбить в своей жене и Никитину мать! Но так не получилось... И что толку было плакать, клянча у родителей замирения?! О, они сами чувствовали себя Царями Дома-Горы, шли сами по себе по жизни, без него, туда, куда ему не было хода! И уж конечно они не знали, не чувствовали одиночества его пустого сердца, в котором даже не море рокотало, а шумел океан из *их* неосторожных слов, бессильных слез и разъедающих лицо пощечин...

На испуг и дрожь век Никиты Антонина Сергеевна отвернулась, пряча сверкающие капли глаз и потирая ушибленную щеку.

— Мама! Чего вы опять?! — на позвон отцовской ложки и мамино битье посуды лязгнул раскрывшийся замок ранца: Никита с силой и слезами в горле стукнул его об пол, рядом с порогом. — Я слышал, не врите! Не буду я есть вашу китайскую лапшу и пить поганый сок! Я лучше сдохну, пусть меня язва забодает и рак сожрет!

* * *

Бабку-коммерсантку Никита невзлюбил, едва она объявилась в их доме. Маленькая и лопоухая, в паутине морщин, утянувшихся к бледному, опушенному над верхней губой рту, с осенним рыжьем волос на небольшой голове, похожей на захлестнутый склизкими водорослями круглый береговой камень, из которого глядят на белый свет узкие щербинки пытких и прытких голубых глаз...

Людмила Хламидовна вела спортивный образ жизни. Огрузнув к старости и тяжело, по-жабьи дыша, по утрам она делала дыхательную гимнастику Бутейко, постилась в церковные праздники, а общее жизнестояние тела и духа поддерживала согласно трактатам старца Медведки, на ту пору расцветшего в печати кержачьей бородой и остыло-синими глазами. Она (Никита знал с маминых рассказов) любила осень, когда можно гулять по лесу, благо имелась дача за городом; обожала собирать в тончайшей золотой хвое рыжики и маслухи в сыром от тумана лесу, чистить их весь долгий дождливый вечер и варить в большой кастрюле (даже короткие пальцы ее на момент их знакомства были с трещинками, с желта от грибов); любила просиживать вечера на желтой веранде и пить мелкими глоточками чай с малиной с надворного куста, закусывая мягкой, дымной булочкой и глядя в окно, — само собой, с видом на реку, на ее быстрые воды и заречные леса, осунувшиеся к снегам и стуже.

До поры у Людмилы Хламидовны (бывшей по профессии заборщиком грунтовых вод в городском метеорологическом отделении) был муж, добрейший, тихий человек, ее однокашник по институту солнечно-земной физики, и несколько взрослых дочерей. Эти были одна к одной, все в мать, с паленой рыжиной, как рыжики в осеннем лесу, а младшая — как водится, самая любимая — еще и с конопушками-кухтинками. И поездки на дачу совершались семейным скопом, в конце рабочей недели, с возвращениями в город ранним утром в понедельник и разлетом дочерей до очередного сборного пятничного вечера в вагоне электрички Лена–Турука.

Понедельник за понедельником (их Людмила Хламидовна, по ее признанию, ненавидела всей душой, как червивые грибы, попадавшие в корзину наряду со здоровыми) — и дочери разлетелись насовсем, сбились в другие стаи. Не сразу на ее потерянное «ау!» воскликнули из-за широких мужниных спин: одна (телеграммой) в Братске, другая (телефонным звонком) в Иркутске, третья — и это было горше всего — промелькнула (с фотографии) своими конопушками, которые еще не научилась забеливать,

аж в Ессентуках, на источниках, где «Печорин угрохал Грушницкого» (на обороте фото). А вскоре, во время весеннего вспучивания реки провалившись под лед, от застуды легких умер муж Анатолий...

Но она все равно продолжала ездить на дачу, уже одна. Она дольше собирала грибы в лесу, ибо не к кому было спешить в маленький домик за косым забором, чаще оставалась ночевать на даче, где все так же пила чай на желтой веранде. В саду умирали рябины и вишни, а на влажном от дождя наружном стекле, как в гербарии, лежали уже мертвые листья красного, желтого и багрового цвета...

Когда Людмила Хламидовна впервые *переступила их порог и в доме все пошло вверх дном* (Владислав Северянович), она еще не была бабкой-коммерсанткой. С какой-то стати она започаяла ездить к ним за сорок верст по грибы. И однажды Антонина Сергеевна привела ее, мокрую до нитки, к ним домой скоротать время до вечернего автобуса. Из корзины омыто глядели рыжики, срезанные вместе с полуденным дождем в оранжевых кувшинках, а на макушке рыжей старушки жидкие волосы скрутились в стружки. Вот тогда-то Никита и невзлюбил Людмилу Хламидовну всем пылким сердцем, в которое нагло и грубо занозили... обиду.

Мама оставила их одних, а сама убежала на работу (это было накануне забастовок, школьный профорг вызвал учителей для составления очередной петиции к президенту с рыбной фамилией), наказав Никите покормить гостью.

— Какой интересный мальчик! — на «стук» дверью, на «бряк» отпавшего в сенцах крючка сказала Людмила Хламидовна, пригладив сырые, обнажившие желтую кожицу волосы на голове. В ее улыбке, примерно в том же месте, где качался Никитин зуб, просверкнула золотым грибком вставная фикса. — Ну, чем ты меня будешь кормить, друг ситный?

— Ну, у нас есть суп, — развел руками Никита, словно бы показывая, что уж чего-чего, а по крайней мере съестного у них — как в торговой лавке. — Только утрешний. Но он в холодильнике стоял!

— Супчик так супчик. Давай супчик!

И Никита полез в холодильник, согрел на плите и поставил перед Людмилой Хламидовной чашку с супом (картошка, домашней лепки толстая лапша, две-три длинные стружки моркови, чешуйка лука, веточки укропа и кусочки настоящего мяса), положил хлеб (вчерашний, три-четыре кусочка) и масло в блюдце (не очень свежее, тускло-желтое).

Людмила Хламидовна, вкусив выставленной Никитой небогатой снеди, наконец осторожно копнула в чашке и поднесла ложку со свисавшей лапшой ко рту. Проглотив, улыбнулась:

— Как вкусно! Ты варил?

— Не-ет, вы что?! Ма-а-ма! — воскликнул Никита, а грибница, подумав, выбрала кусочек из хлебницы, аккуратно обстукала с него крошки, сломала пополам и взяла себе половинку, но масло намазывать не стала (наверное, потому, что масла осталось на донце).

От щедрот Никита снова заглянул в холодильник, поискал по пустым полкам и извлек из отпотевшей склянки искрученный соленый огурец. Однако Людмила Хламидовна чего-то удивленно вскинулась полосками прощипанных, крашеных бровей, а медленно втягивающий лапшу рот, точно шевелящий ножками паук, уцелился на Никиту из своей паутины, готовый сглотнуть или, по крайней мере, впутать во что-нибудь нехорошее.

— Это мне? Суп, хлеб с маслом, — грибница указала желтым, проковырявшим не один рыжик пальцем на блюдце, — и соленые огурцы?! Оригинально!

Осилив несколько ложек, пошвыркав их пустой чай и посидев на табуретке, осматривая бедную кухню, все больше горшки-черепки, старый холодильник и галоши у печки, Людмила Хламидовна поднялась.

— Спасибо! Спасибо! — поблагодарила за кушанье и с полной грибов корзиной в руке ушла на автобус. Но, опрометчиво отстранив ложкой от тарелки его огурец, как нерадивую свинью мешалкой от корыта, странная гостья не уехала насовсем...

Уже раз или два пробросало снегом, стаявшим через день, но кое-где оставшимся до весны, например на куче огуречного лыча. И Людмила Хламидовна отозвалась из города обыкновенной картонной коробкой. То есть это было не совсем неожиданно, тем более для Антонины Сергеевны. Она для какой-то надобности тоже — как снег пару раз перепал — раза два съездила в город, возвращаясь с тайной думой на лице. Эту думу она, видно, не могла задолеть. Но молчала о ней упорно, сколько бы Никита ни пробовал манить из нее эту тайну. Все чаще и все дольше Антонина Сергеевна занимала телефон. Старушечий хрипоток на другом конце провода настойчиво убеждал ее в чем-то, а однажды ее устами назвался по имени, то есть грибком полез в кузовок Никитовой соображаловки, — он раньше обычного пришел с консультаций и разувался в прихожей.

— Ой, не знаю, Людмила Хламидовна, не знаю! — громко вздыхала Антонина Сергеевна, не услышав проскрипевшей двери. — Вы как-то скоро уж! Раз были всего, даже добром не поговорили, а уж такое доверие... Ну, не разбойники, конечно, обманом не промышляем! Да, конечно... Так-то бы хотелось... Да даже не то чтобы желание какое-то корыстное — разбогатеть или еще чего... Какие юга, какие моря! Я даже не думаю о них. Мне бы вон Никитку вырастить, а то опять нынче в школу во всем старом ходит, деньги-то, сами знаете, как платят теперь... Да нет, он так-то скромный, не высказывает. Ну, хочет, понятно, ребенок... Да и вообще, не лишняя копейка! Нет-нет, я... это... не работала никогда... Наверное, смогла бы, так-то разобраться... Ну, хорошо, я подумаю... Я еще не разговаривала с ним, но пере... Собираемся, будем бастовать, сколько можно! Ну, хоть заявим свои тре... А, кто-то к вам пришел? Прямо на дом?! Ну, до свиданья...

В очередной раз Антонина Сергеевна, зажав горстью дырчатый зевок трубки, кротко сказала:

— Ладно! Жду.

Назавтра они и получили эту коробку от неразговорчивого водителя пригородного автобуса и в октябрьской сутеме, в сырости и отрывающем листья ветре понесли домой. Дома Антонина Сергеевна поставила коробку на стол и, пока Владислав Северянович убирался со скотьем во дворе, проскользнула острым ногтем по коричневому скотчу, разъяв картонки в стороны. В коробке, к удивлению и восторгу Никиты, оказались цветастые жвачные резинки, пахнувшие дыней, арбузом, яблоком, а которые персиком и бананом.

— Во класс! — У Никиты сперло дыхала от заморских ароматов, повеявших из коробки, от обернутых в хрустящие бумажки кубиков, пластинок и кругляшек, и он сразу полюбил Людмилу Хламидовну. — Это мне?!

— Нос в губной помаде! — пальцем «пикнув» в нос Никиты, засмеялась Антонина Сергеевна, сверкая глазами, как новогодняя елка в горящих гирляндах. — Давай теперь считать, сколько здесь всего. Чур, не обманывать!

— Во класс! — еще раз воскликнул Никита. — Во ништяковская старуха-грибница! Недаром я ей супа дал!

Он назвал имя Людмилы Хламидовны, зная от мамы, что жвачки прислала городская сборщица грибов. Однажды она зашла в школу переждать обложной ливень...

— Сразу видно: душа человек... Да, Никит?

Хороший-то, может, и хороший — но зачем она прислала им эти жвачки?

— У меня триста девятнадцать. А у тебя?

— Сто восемьдесят.

— Как сто восемьдесят? В ведомости написано 400 штук!

— Я взял одну!

— Ладно, но больше так не делай, — учительски строго сказала Антонина Сергеевна, складывая крылья коробки и снова аккуратно заклеивая щели скотчем. — И еще попрошу об одном: пока не говори отцу про эту коробку. Я ему потом сама скажу. Хорошо?

— Хорошо, — банановo прожевал Никита. — А зачем они нам?

— Это тебе тоже пока не надо знать.

Никита не обиделся недоверию к себе и ляпнул свое «хорошо» не подумав, тишком от мамы разглядывая наклейку-вкладыш, где той самой *ночной бабочкой*, о какой кричит один эстрадный кривляка, расцвела красивая тетка. Да и чего обижаться, если в его сжатом кулаке радушная коробка помимо воли Антонины Сергеевны оставила ему на усладу несколько непочатых жвачек...

Лишь у себя в комнате он поспешно развернул жвачки, а с их вкладышей тоже вспорхнули бабочки-тетки.

— Ух ты на! Вот это да! — Никита быстренько рассовал дивное добро по карманам, а то, не дай бог, зайдет Антонина Сергеевна или Владислав Северянович.

С чего бы ему, спрашивается, прятать простые вкладыши?

Тетки оказались больно интересными, затейливо сделанными буржуазным Западом. Они были одеты в одни купальники! Никита слыхал уж, что на белом свете встречаются такие, но чтобы на вкладышах жевательных резинок!.. Как уж он там мудрствовал-гадал или взял нахрапом, но вскоре расчухал: нужно лизнуть языком по наклейке — и последняя одежка с тетки зазывно спадет! Тут успевай глаза лупить да наяривать мокрым от побежавшей слюны языком. А другие, еще не оголившиеся тетки уж рады скинуть с себя все.

* * *

Вечером Никита сидел в детской и делал задание по физике, надувая ртом сочные пузыри. Это ничуть не отвлекало, наоборот, всячески облагораживало быт скучных формул и цифр. Он уж заслюнявил вкладыши до того, что одежонка на тетках (нарисованная, как он понял, специальной тушью, исчезавшей на влаге, посуху появлявшейся) истерлась и женские прелести не прикрывались.

Владислав Северянович ужинал в кухне, Антонина Сергеевна процеживала через марлю молоко.

— Я только попробую, чего ты взъелся сразу! — побрякивала душка подойника. — Не пойдет дело — отправлю назад. Велика потеря!

— Они вот таких и набирают, чтобы потом деньги из них качать! — хмуро отзывался Владислав Северянович, шелуша фиолетовые головки чеснока. — Они к умному-то не подойдут, а дуру колхозную за километр видят!

— Умный — это, конечно, ты? А я... Фу, опять наелся чеснока, за версту плашмя кладет!.. Не такая уж я и дура, кое-что понимаю. Потом, должна же я чем-то кормить ребенка. Сколько эта катавасия продлится, выйдет ли из нее что?

— Выйдет. Всех уволят и на улицу выбросят — вот что выйдет! Вот забастуете когда!

— Все-таки хочу попробовать, — поворачивала на свое Антонина Сергеевна, отжимая в ведро марлю и вешая на веревку над печкой (Никита этого, разумеется, не мог видеть из комнаты, но он и так знал каждое отцово движение, каждое действие мамы). — Ты поел?

— Дело твое — пробуй! Только потом не жалуйся...

— Кожубекова тоже со жвачек начинала — а сейчас кто? Крупный предприниматель, пожалуйста. Такими делами ворочает...

— А-а, с Кожубечихой со своей вылезла! — Скрипнула дверца печи: Владислав Северянович наладился курить. — Она давно в глазах людей упала...

— С чего, интересно?

— Приезжала она осенью картошки скупать: брала мешок по одной цене — в Якутске сдавала в десять раз дороже. А люди раком в поле стояли, из грязи выкапывали эти картошки, потом еще сколь сушили! Такая гниль, а непогода была, подгадила нам сегоды...

— Так ведь ей тоже платить надо было! И капитану этому, на чью баржу грузили, и грузчикам, и эпидемстанции какие-то есть, наверное. Да и там, в Якутске, тоже без копейки никуда, тем же шоферам отвали, не на себе же она эти картошки волокла на рынок... То на то и выходит!

— Я согласный, не по одной цене! У них там жизненные условия и прочее. Но могла она хотя бы чуть больше цену сделать? Мо-огла! Не мотай головенкой-то, не контуженая! Твоя Кожубечиха!.. Девятьсот рэ прибытка с дурака — вот тебе и коммерция. А дураков целая деревня. Может, вся страна...

...Никита помнил Кожубечиху — толстую бурятку, доярку с молочной фермы. У нее была красивая дочь Настя, а с ее сыном Алдаркой он даже играл, пока они не уехали в Ростов. У Алдарки у первого появились на селе настоящие джинсы, настоящая аляска (куртка такая). За ним хороводились все мальчишки, потому что Алдарка всегда был при жвачках, а мог и бугристым американским шоколадом угостить. Правда, Никита потом — еще до того, как Кожубеевы уехали в Ростов, — стал чураться Алдарки. Сын Кожубечихи завел себе моду: лень ему чистить двор, он назовет друзей и, насулив жвачек, ведет их в стайки, да еще и прикрикивает. Он и с Никитой хотел поступить так же, и Никита даже пошел в коровник, но, когда Алдарка и над ним стал командовать, Никита ударил его и уронил в парной навоз. Кожубечиха вскоре прибежала, держа в руке Алдаркину перемазанную навозом куртку. И Никита, смахивая из-под носа слезы, весь вечер отстирывал синюю модную джинсу Алдарки, а когда стемнело, вывесил ее на забор, стесняясь идти к Кожубеевым домой. С того случая, как говорят, черная кошка пробежала между Никитой и Алдаркой, который стал еще больше задаваться и за жвачки, за шоколадки — а чаще за посулы их — переманил на свою сторону и восстановил против Никиты редких его друзей. Они даже пытались взять штурмом их забор, когда Никита залез на поленницу с батареей из снежков, но Никита уронил на голову Алдарки мерзлое полено — и Кожубечиха прибежала опять...

Еще Антонина Сергеевна не убрала вечернюю посуду, а Владислав Северянович не накурился в печку, а Никита уж твердо усвоил, что его мама

ступила на путь *коммерции* и по ней (по маме) скоро тюрьма заплачет, а по ним (то есть по Никите и Владиславу Северяновичу) голодная смерть. Нет, Никита не подслушивал. Слова Владислава Северяновича надулись в квартире тугими пузырями и, надсадно зазвенев, заскрипев от тесноты вложенных в них страшных, самое себя пожирающих смыслов, вместе со стукнутой печной дверцей лопнули, потушив жвачные шары и прогрохотав — в прихожей, в бочке с водой, в ковшике на стенном гвозде, в ушах у Никиты:

— По миру хочешь нас пустить, дур-ра-а?!! Так давай, лебези перед своей... Бабкой-коммерсанткой!!!

Чу! Старуха-грибница нашла свое настоящее имя, как в справную одежу влезла и уж более не вышагивала из нее.

О, старушка оказалась ничего себе! Она (присев от ора на табуретку, сбивчиво рассказывала Антонина Сергеевна; Владислав Северянович, удовлетворенный ее послушанием, давил в кулаках яичную скорлупу, чтобы высушить на печке в жестянке и снести по утру курицам) вышла на пенсию, вместе с другими старухами настропилилась торговать на рынке семечками, грибами, ягодами... Скопив деньжонок, завела дело (*открыла лавочку*, определил Владислав Северянович), то есть ходила по библиотекам, клубам, почтам, всяким конторам, где перебивалась мелким товаром — от брелоков до кастрюлей. *(Разжирев)*, взяла в аренду место в супермаркете (опять *лавочку*), стала ин-ди-ви-ду-а-льным предпринимателем *(торгашом)*. Наняла продавца, соображая масштабнее, думая вести торг во всех районных деревнях. Для этого она ездила по району *(как Чичиков)* и подбирала местных продавцов *(мертвые души в кабалу загоняла)*. Так она перетянула Антонину Сергеевну на свою сторону *(нашла дуру!)*, чтобы она тоже приторговывала в деревне *(барахлом)*, а выручку раз в месяц отправляла *(отстегивала)* Хозяйке, себе оставляя Процент... (Она так почтительно произнесла последнее слово, что Никита, хоть и знал о его значении из математики, все-таки подумал: это что-то другое — живое, с большой буквы, в кепке-шестиклинке, пузатое и важное, как директор пилорамы, у которого брали доски на парники)...

...Зарплату ни отцу, ни матери не выдавали восьмой по счету месяц, жили на соленьях с огорода, на картошке... (На картошке в ту пору кантовались больше всего. Все поля, прежде пустовавшие или поросшие коноплей, были разработаны и засажены ею, распахивались даже пустоши, косогоры, межи. Картошка в деревне — это дрова, соляра, бензин, мука, одежонка ребятишкам в школу...) Еще содержали дворик: десяток куриц да тощая корова с пушистым, как венчик ромашки, телком, чью кудрявую голову в ноябре вешали за рога на забор, чтобы из обрубка шеи в таз стекла парная гуашь... Спасало, что матери ссуживали в магазине муку, сахар, соль, крупу. Часто конфетки шоколадной, самой завалящей, пропахшей мышами и протекшей ягодной прослойкой, не видел Никита месяцами. Пельмени (покупные до ноября, до того момента, как венчик телячьей головы опадет с шеи, — а уж дальше лепили свои) Антонина Сергеевна никогда не кидала в пустую воду, а разбавляла картошкой или серыми, из муки второго сорта, макаронами.

Примерно раз в год через сельский совет выдавалась с крытого брезентом грузовика в одни руки *американская коробка*:

а) жестяная, с синими полосками и красными звездами броско расцвеченная пятилитровка с растительным маслом (эти банки здорово шли на канистрочки под бензин, соляру, на детские ведра, а Никита даже сделал из жести такой банки кожух для самодельного настольного светильника);

б) мука в пакетиках (на всякий случай разбавляли отечественной мукой);

в) серые макароны (эластичные, с дырочками, через них славно было плевать рисом из-за угла);

г) рис (плоский, встанет в макаронине поперек — ничем не вынешь);

д) водянистая тушенка (на банке усатый толстяк, а Никита переживай, как у него сложилась судьба, если на российской тушенке изображались животные, пошедшие в расход);

е) сухие завтраки в трескучих завертках (шли на хлопушки: вскрыть аккуратно, не разорвав упаковки, вынуть завтрак, а потом надуть пакетик и хлопнуть по нему кулаком)...

(С *американскими коробками* шел капитальный мухлеж. Те проныры, что во все времена на раздаче, тащили их домой не по одной и не по две, кормили тушенкой и колбасой собак, сами в рот брать моргуя заморских яств, бог весть когда произведенных, на каких складах, с какой войны лежавших, в каких фешенебельных самолетах, ржавых трюмах или вонючих расейских грузовиках привезенных — сначала через океан в Россию, потом в Сибирь через всю страну, по которой прошагал призрак коммунизма и, может быть, еще никуда не ушел, а спрятался в подполье.)

В конце каждого месяца ездили в город — либо шли в местный коммерческий магазин, с которым у райсобеса была договоренность, — и *подтоваривались* в счет детских выплат. То есть за счет тех копеек, которые радушное государство отрывало от себя и бросало таким, как Никита, дармоедам. Чтоб не сдохли от голода и не осрамили страны перед сытой Европой накануне очередных *международных учетов жизни населения РФ*. (Где вы, люди в городских одежах и в облаках дорогого одеколона? Вы переписывали куриц-коров, кошек-собак, обспрашивали про житье-бытье. Отказывались от подставленной табуретки. Позже, спустя годы, Никита догадался почему: на табуретке отпечаталось донце подойника...)

Ранней весной и поздней осенью по деревням ездили шаромыжники, все больше кавказцы да китайцы. Последних объявилось в Сибири тьма, они, горластые, променяв *Поднебесную*, быстро освоились в *подневольной* для собственных граждан стране. И скупали за бесценок или меняли на дешевые вещи — ту же картошку, капусту, мясо, пушнину, иконы, старинные вещи. На заборах, на магазине, на почте шелестели безграмотно писанные заманы о скупле «притметаф рускава бита» — правда, не нового, «демократического» (ибо из *того* «бита» и скупать-то было нечего), а из прежнего, дедовского быта-бытия.

И сдавали за гроши, меняли на барахло-шмутье все, на что упал глаз скупщика. Наученные российской историей, потравленные реформами, из-за шкуродерства новых хозяев жизни чаще лезли в кабалу, чем в драку, довольствуясь ширпотребом, до дыр занашивая шапки, трещавшие по швам, стаптывали безразмерные резиновые тапочки, форсили в бейсболках с расшиперенными по козырьку огнезубыми драконами... Только единственный случай и был, когда один из деревенских мужиков набрал кучу разных товаров под золото (якобы хранилось ведрами), а пришел день расплаты — вместо обещанного металла вынес торгашам ведро парного навоза с желта, в бриллиантах зеленых блескучих мух...

В общем, скреблись в той (или этой?) жизни по малой грусти. И Владислав Северянович вдавил огрызок сигареты в чугунную решетку истопницы:

— Ладно, видно будет!

Уже лежа в кровати и вяло пережевывая резинку, потерявшую вкус и запах, раскисшую в едкую массу, Никита представлял, как же мама, не державшая в руках счетов, не гонявшая их звонких костяшек по радугам проволок, будет торговать. И каким образом пойдет в доме бойкая купля-продажа. И куда положат жвачки с тетками. Через переднюю ли дверь валом попрут покупатели или придется вырезать в стене окошечко, а на окошечко ставить решетку...

О многом переживал Никита, восторгаясь будущей жизнью и вместе пугаясь ее. Еще о большем он успел бы размыслить, когда бы не уснул. Однако и в страшном, поднимающем волосы сне не увидел бы никогда, сколь неожиданно начнется завтрашний день.

* * *

Виной были вкладыши, наклеенные Никитой на стамик кровати, а вернее, тетки, излизанные его языком на нет, не только не знавшие, чем бы прикрыться, но и тех стыдных мест, которые следовало бы прикрыть, уже не имевшие.

Наутро, едва войдя в комнату, Антонина Сергеевна расплескалась руками по стамику.

— Это что за срамотина?! Это ты где взял, бесстыдник?! Ну, кому говорю?!

— «Где взял, где взял»... — сонно отозвался Никита и потянул на себя откинутое Антониной Сергеевной одеяло, в первую очередь прикрывая зад на случай, если в воздухе звякнет бляшкой «витамин РЭ». — Ты же дала! Сама дала, а теперь спрашивает!

— Я?! — воскликнула Антонина Сергеевна, сообразив, что соскребать наклейки тщетно: американский клей держал прочно, только зря ногти засорила. — Это когда же?!

— А вчера-а, из той коробки эти вонючие жвачки!

Ничего не сказав, Антонина Сергеевна поспешила в зал. Там вынула из дивана спрятанную коробку, сорвала скотч и высыпала жвачки на пол.

Никита подкрался и встал в дверях, смотрел на мать, на то, как она стала сначала аккуратно разворачивать, а затем срывать фантики ногтями, как полетели бабочками на ковер улыбающиеся тетки...

Когда Антонина Сергеевна опомнилась, было поздно, все жвачки расколупала, фантики порвала. Тут-то схватилась за голову:

— Ой, Никит, чего я наделала! Вот дура! Кто ж их теперь возьмет-то, распечатанные? А ведь импортные, денег стоят! Это тебе не сера какая-нибудь, что пошел да наковырял с поленьев...

Дальше было прежнее: «Отцу не говори». Отплакав, отмотыляв *непутевой головушкой*, попеняв самой себе, всех голых бесстыдниц пожгла Антонина Сергеевна в печке. Кочергой в их смрадный прах пошукала, а то, может, эти вкладыши на несгораемой бумаге. Расправившись с тетками, умостилась в зале прямо на пол, разделила жвачки и фантики на две горки. Сообразив, что от него требуется, Никита сел рядом, стали вдвоем с помощью бесцветного клея возвращать товару завлекательность.

— Никит! Сейчас же положи эту жвачку на место! — не отрывая взгляда от струйки клея, медленно сочившегося из тюбика на фантик, пресекала обобществление жвачки Антонина Сергеевна. — Я все вижу!

— Каку-ую?! — делая невинными глаза, удивлялся Никита.

— Таку-ую! Кому говорят?! — прикрикивала Антонина Сергеевна, а сама горевала и одновременно торжествовала о другом: — Нет, я не та-

кая, как она подумала, эта Людмила Хламидовна! Мало пихаем детям все, что ни одному нормальному взрослому в рот не полезет, так еще вон в какую гадость эти жвачки заворачиваем, с малых лет подводим детей под монастырь!

— А почему говорят: подводим под монастырь? — равнодушно интересовался Никита, надувая огромные шары и, не умея сказать, мычал Антонине Сергеевне: дескать, посмотри, какой надул!

— Да потому! Чего пристал? Опять напихал полон рот! И так уже, наверное, на тысячу нажевал! Сейчас как дам по этому пузырю, так всю мордяшку тебе залеплю!

Провозились не один час, а все без толку. И фантики были сорваны абы как (нет чтобы ножичком или подержать над кипящим самоваром), и от сверстников Никиты — основных покупателей, въедливых и настырных, — ничего не утаишь (они и брали-то жвачки за-ради голых теток — а тетки-то те давно в печке сгорели!), да и клеевой шов не замажешь...

Заглохла торговля, ладом не начавшись. На что Никита, забыв про книги и скликая детвору в дом, быстро освоил нехитрую схему: *спальня — комод — коробка — берешь жвачку — несешь покупателю — выручаешь деньгу — кладешь деньгу в кошелек — получаешь по шее* (если не покладешь деньгу в кошелек) — а все не было прибытка. Уж он стал брать резинки в роскуп на улицу, где бойче шла торговля, мало что приходилось зажимать карман рукой да следить соколом, не покажется ли ухарь-старшак, чтобы наставить «банок» (бьют костяшками рук по бедрам, до синяков) и выгрести жвачки, — не было удачи! А сколь сам сжевал, по два, по три кубика кладя разом в рот! Все равно ни в коробке не мелело, ни в кошельке не прибывало. Распечатав жвачку и не обнаружив наклейки, всякий второй покупатель — этакий кулакастый, с вихрем нестриженых волос на голове крепыш — шел на Никиту, до поры опустив тяжелые кулачки. Но только до поры.

— Ты складыш вытащил, камирсан вшивый?!

— Не я, не я! — защищался Никита. — Сами токо што с мамкой увидели: а жевачки-то без складышей!

— Не ты?! А то кто же?!

— А старуха сама!

— Зачем ей, старухе?!

— Я откуда знаю?

— Тогда капусту назад!

— Резинку-то сжевал!

— Резинка без телок — фуфло! — резонно заявлял обманутый и поднимал кулак: — Сочишься, плесень?

— Еще чего! Пузыри-то надувал?

— Чего бормочешь, фуфлогон несчастный? Щас ка-ак дам — у самого из носопатки красные пузыри полезут! Ну, гони деньгу!

Приходилось и отдавать тем, кого осилить Никита не умел. Хотя все больше, конечно, отмахивался, здоровьем Бог не обидел. Непрочно сидевший в гнезде зуб давно выронился, но Никита растерял бы и полон рот зубов, чем отдал коробку жвачек!

Споро битый разиня-покупателишка укрепился в своих гражданских правах. Не взыскав с Никиты, он держал путь прямиком к Антонине Сергеевне — а уж она-то отказать, конечно, не могла, скорее бы сквозь землю провалилась. Да не один шел, а маманю вел, для надежности дела надув под носом жалобные пузыри. А уж та маманя спустя час разбазаривала всей деревне, какая обходительная и культурная училка Антонина Анохина и только один грех содержит в своей святой жизни. Но то грех

страшенный, отродясь никому не прощаемый: с зубов семь шкур дерет, а шила в мешке утаить не может...

Зажимая ноздри, прибегала Антонина Сергеевна из магазина или с почты, на кровати с мокрым полотенцем на голове лежала, убитая горем, от стыда разламывало всю. Вспоминала косые перегляды сельчан, укоры учителей и особенно пристальный взгляд директора школы. Зарекалась Христом Богом:

— Да что бы я еще, да хотя бы одну жвачку... Эх, подкузьмила мне Людмила Хламидовна! Не ждала я от нее такого позора, ох, не ждала-а!

Но ведь как-то надо сбыть товаришко, тем более порченый.

— Ладно, надо уж было, видно, сразу отказаться — а теперь чего? И так молва по всей деревне: торгашка, коммерсантка! — наутро, распухнув от слез, доплакивала Антонина Сергеевна, но уже сухими глазами. — Вот продам эти жвачки (черт мне помог связаться с ними!), а там все, провались оно пропадом!

Но говорилось это специально для того, чтобы умаслить Владислава Северяновича. Ему тоже наплевали в глаза за супругину торговлю, и он сидел злой, тяжело ворочал челюстями, обгладывая кость.

— Фантики ей, вишь, не понравились! Чего они тебе, эти фантики? Молиться на них? Развернул — и выбросил!

— Они выбросят, ребятишки-то! Ты иди посмотри, как наш-то выбросил! Там тако-ое изображено!..

— Я уж видал! А что ты хотела? Взялась торгашить — про стыд забудь, совесть... сама знаешь, куда запихни!

Ну, кое-как сбыли жвачки, отдали в полцены. Остальное покрыли за свой счет — сдали в город четыре мешка картошки по цене двух. В срок Антонина Сергеевна собралась к Людмиле Хламидовне, объяснив Владиславу Северяновичу, хмуро долившему деньги от продажи картошки, что едет отчитаться перед Хозяйкой и сбыть всю эту торговлю с рук.

— «Хозяйке»! Как собаки! Тьфу! Еще на сворку сесть к ей не пробовала?.. На, больше не дам!

— Больше и не надо, Владик, есть у меня!

— И чтобы...

— Нет-нет! Да я и сама больше не хочу!

— Ну, хоть что-то! Вставило, значит, мозги...

Не вставило.

Как ни божилась Антонина Сергеевна, что с позорным капиталом в их доме кончено, однако городской автобус спятился к самым воротам. Из автобуса уже известный шофер — он, видно, тоже подвязался у старухи-грибницы в слугах, за отдельную плату провозя товар, — снес на крыльцо несколько коробок, больше прежних. Никита с отцом перетаскали коробки в дом.

— Тарелки, — едва сдерживаясь, оценил Владислав Северянович, вскрыв одну коробку. — А в этой что? Тоже тарелки... Себе?

— Чего? — Стоя в прихожке на одной ноге, как цапля, Антонина Сергеевна снимала с другой ноги длиннющий кожаный сапог. Лицо ее раскраснелось не то от смеха, с каким Владислав Северянович вскрыл коробки, не то от затаенной до поры новости. — Вот, Владик, сапоги себе новые купила, из саламандры...

— Плохие старые-то были?

— Прямо там, у Людмилы Хламидовны, выбросила в мусоропровод! У них там в подъезде мусоропровод есть. Выходишь, открываешь крышку...